

ЖЮСТИН

ЭВЕ

посвящает автор эту летопись ее родного Города

Я постепенно привыкаю к мысли о том, что каждый сексуальный акт следует рассматривать как процесс, в который вовлечены четыре человека. Нам будет о чем поговорить в этой связи.

З. Фрейд. Письма

Есть две позиции, позволенные нам: либо преступление — оно делает нас счастливыми, либо же привычка — она мешает нам быть несчастными. Я задаюсь вопросом, возможно ли здесь хоть какое-то колебание, очаровательная Тереза — ну и где же Ваша маленькая головка сможет отыскать аргумент, способный выстоять против сказанного мною?

Д. А. Ф. де Сад. Жюстин

Уведомление

Персонажи этой книги, первой из четырех, являются полностью вымышленными, как и личность рассказчика, и прототипов не имеют. Реален лишь Город.

Часть 1

Сегодня снова штормит, и море пронизано вспышками ветра. В середине зимы замечаешь первые вздохи весны. Небо до полудня как раскаленная вскрытая раковина, сверчки на подветренных склонах, и снова ветер раз за разом обшаривает огромные платаны, тасует их листья...

Я сбежал на этот остров с несколькими книгами и ребенком — ребенком Мелиссы. Не знаю, почему у меня вырвалось это слово — «сбежал». Те, кто живет в деревне, шутят, говорят, что только больной человек мог выбрать такое Богом забытое место, чтобы заново отстроить дом. Ну что ж, я и приехал сюда затем, чтобы вылечиться, если на то пошло...

Ночью, когда ревет ветер и ребенок тихо спит в деревянной колыбели у камина, эхом вторящего ветру, я зажигаю лампу и хожу по комнате, думая о тех, к кому привязан, — о Жюстин и Нессиме, о Мелиссе и Бальтазаре. Я возвращаюсь, звено за звеном, вдоль железных цепей памяти в Город, где мы так недолго прожили вместе: она видела в нас свою флору — взращивала конфликты, которые были ее конфликтами и которые мы принимали за свои, — любимая моя Александрия!

Как далеко мне пришлось уехать, чтобы понять это! Здесь, на голом каменистом мысе, где каждую

ночь Арктур выхватывает меня из тьмы, далеко от известковой пыли тех летних полдней, я вижу наконец, что никого из нас нельзя, собственно, судить за то, что случилось в прошлом. Если кто и должен держать ответ — только Город, хотя нам, его детям, так или иначе придется платить по счету.

* * * * *

Как рассказать о нем — о нашем Городе? Что скрыто в слове — Александрия? Вспышка — и крохотный киноглаз там, внутри, высвечивает тысячу мучимых пылью улиц. Мухи и нищие царствуют там сегодня — и те, кто в состоянии с ними ужиться.

Пять рас, пять языков, дюжина помесей, военные корабли под пятью разноцветными флагами рассекают свои маслянистые отражения у входа в гавань. Но здесь более пяти полов, и, кажется, только греки-демоты умеют между ними различать. Обилие и разнообразие питательных соков для секса, возможностей, которые всегда под рукой, ошеломляет. Счастливыми здешние места назвать трудно. Символические любовники свободного эллинского мира канули в Лету, теперь здесь цветут иные травы, с подспудным ароматом андрогинности, обращенные на самих себя, на самих себя обреченные. Восток не способен радоваться сладостной анархии тела — ибо он обнажил тело. Я помню, Нессим однажды сказал — мне кажется, он кого-то цитировал, что Александрия — это гигантский винный пресс человеческой плоти; те, кто прошел через него — больные люди, одиночки, пророки, — я говорю об искалеченных здесь душах, мужских и женских.

* * * * *

Горсть красок для пейзажа... Долгие temperные гаммы. Свет, процеженный сквозь лимонную цедру. Воздух полон кирпичной пыли — сладко пахнувшей кирпичной пыли и запаха горячих тротуаров, сбрызнутых водой. Легкие влажные облака липнут к земле, но редко приносят дождь. Поверх — брызги пыльно-красного, пыльно-зеленого, лилового с мелом; сильно разбавленный малиновый — вода озера. Летом воздух лакирован влагой моря. Город залит камедью.

А позже, осенью, сухой дрожащий воздух, шероховатый от статического электричества, разбегается язычками пламени по коже под легкой одеждой. Плоть оживает, пробует запоры тюрьмы на прочность. Пьяная шлюха бредет по улице ночью, роняя обрывки песни, как лепестки. Не эта ли мелодия бросила в холод Антония — цепящиеся струны великой музыки, настойчиво звеневшие о расставании с Городом, с его любимым Городом?

Молодые тела угрюмо ищут отзвука в чужих телах, и в маленьких кафе, в тех самых, куда часто забредал Бальтазар вместе со старым поэтом Города*, парни нервно суетятся над триктраком под керосиновыми лампами, взбаламученные сухим пустынным ветром — заряженным подозрительностью и прозой, — суетятся и оборачиваются навстречу каждому входящему. Они ведут войну за то, чтобы дышать, и в каждом летнем поцелуе отслеживают привкус негашеной извести.

* * * * *

Я приехал сюда, чтобы заново отстроить в памяти Город — меланхолический пейзаж, который старик* видел полным «черных руин» его жизни. Лязг и дре-

безжание трамваев по металлическим венам, прорезавшим окрашенный йодом *мейдан* Мазариты. Золото, фосфор, магний, бумага. Здесь мы обычно встречались. Летом появлялся маленький раскрашенный ларек, где продавали ломтики арбуза и яркие шарики фруктового мороженого — ей нравилось именно такое. Она, конечно же, приходила на несколько минут позже — может быть, сразу после свидания в какой-нибудь комнате с зашторенными окнами, об этом я стараюсь не думать; но такая свежая, такая молодая, раскрытые лепестки рта касаются моих губ — непогашенное лето. Мужчина, от которого она пришла, мог все еще возвращаться мыслями к ней, опять и опять; она была словно припорошена пылью его поцелуев. Мелисса! Как мало все это значило, когда рука подавалась под гибкой тяжестью ее тела и она, опершись о мой локоть, улыбалась с безличной невинностью тех, кто навсегда развязался со всякими тайнами. Это было чудесно — стоять вот так, неловко и слегка смущенно, и дышать часто — мы ведь знали, чего хотели друг от друга. Понимание, проходящее мимо сознания, прямо сквозь плоть губ, сквозь глаза, шарики мороженого, сквозь раскрашенный ларек. Стоять легко, держась мизинцами, вдыхая глубоко пропахший камфарой полдень, часть Города...

* * * * *

Просматривал сегодня вечером бумаги. Что-то, видимо, пошло на кухонные нужды, что-то испортил ребенок. Эта форма цензуры мне импонирует, ибо напоминает о безразличии мира ко всему, что воздвигает искусство, — о безразличии, которое я на-

чинаю разделять. В конце концов, что толку Мелиссе от изящных метафор, если она лежит глубоко под землей, подобная бесчисленным здешним мумиям, — в мелком теплом песке черной египетской Дельты.

Некоторые бумаги, тем не менее, я тщательно оберегаю от разного рода случайностей — три тетради, в которых Жюстин вела дневник, и фолиант, хранящий память о безумии Нессима. Нессим заметил их, когда я уезжал, кивнул мне и сказал:

«Правильно, забери это все, прочитай. Там многое сказано о нас обо всех, в этих книгах. Они помогут тебе понять, что такое Жюстин, и не рыскать вокруг и около правды, как я». Это было в Летнем дворце, уже после того, как умерла Мелисса, — тогда он еще верил, что Жюстин к нему вернется. Я часто думаю, и всегда с каким-то привкусом страха, о том, как Нессим любил ее. Возможно ли чувство более всеобъемлющее, более самоценное? Эта любовь придавала его несчастью оттенок некой экстатичности, радости быть раненым, подобного ждешь от святого, не от влюбленного. И все же — одна-единственная капля юмора спасла бы его от ужаса вечных мук. Я знаю, легко критиковать. Я знаю.

* * * * *

В великом молчании здешних зимних вечеров есть только одни часы: море. Его неясный ритм выстраивает фугу, и я нанизываю на нее слова. Гулкие кадансы морской воды, она зализывает собственные раны, облизывает губы Дельты, кипит на опустевших пляжах — пустынных, навсегда пустынных под кры-

лями чаек: белые росчерки на сером, тучи жуют их заживо. Если здесь появляется парус, то умирает прежде, чем мыс успеет его заслонить. Обломок кораблекрушения, вымытый к подножию острова, безмолвная шелуха, окатанная непогодой, прилипшая к голубому небу воды... исчез!

* * * * *

Если не считать морщинистой старой крестьянки, которая каждый день приезжает на муле из деревни, чтобы прибрать в доме, мы совсем одни — девочка и я. Ребенок подвижен и счастлив в столь необычном месте. Имени я ей еще не дал. Конечно, она будет Жюстин — как иначе?

Что до меня, я ни счастлив, ни несчастлив: парю, подобно волоску или перышку, в туманных потоках памяти. Я говорил о бесполезности искусства, но ничего не сказал о том облегчении, которое оно способно принести. Утешение, находимое мною в подобного рода работе ума и сердца, состоит в следующем — только *здесь*, в молчании художника или писателя, реальность можно перестроить, переработать и заставить повернуться значимой стороной. Обычные наши поступки суть не что иное, как дерюга, под которой сокрыто златотканое покрывало — источник значений. Нас, художников, здесь ожидает счастливая возможность помириться посредством искусства со всем, что ранило и унижало нас в обыденной жизни, и — не бежать от судьбы, как то пытаются делать обычные люди, но заставить ее пролиться истинным живым дождем — воображением. Иначе — зачем бы мы мучили друг друга? Нет, благое отпущение, кое-

го я ищу и которое, возможно, и будет мне даровано, я найду не в ясных по-дружески глазах Мелиссы и не в тяжеловатом, исподлобья взгляде Жюстин. Каждый из нас выбрал свой путь, но именно здесь, в первом взрыве распада и хаоса, встреченном мной уже в качестве зрелого мужчины, я вижу, насколько память об этих людях расширила границы моей жизни и моего творчества, — безмерно. В мыслях я снова с ними, как будто только здесь — деревянный стол над морем под оливами, — как будто только здесь я наконец могу воздать им сполна. Слова, что возникают на бумаге, напоминают — вкусом? запахом? — тех, о ком они, — их дыхание, кожу, голоса — и оборачивают их в податливый целлофан человеческой памяти. Я хочу, чтоб они снова жили, хочу до той самой степени, где боль становится искусством... Может, даже пробовать бессмысленно, не мне судить. Но пробовать я должен.

Сегодня мы с девочкой вместе заложили первый камень в фундамент будущего дома, тихо переговариваясь за работой. Я говорю с ней, как говорил бы с самим собой, будь я один; и она отвечает мне на героическом наречии собственного изобретения. Мы закопали кольца, которые Коэн купил для Мелиссы, в земле под камнем, как велит местный обычай. Это приносит счастье обитателям дома.

* * * * *

В то время, когда я встретил Жюстин, я был едва ли не счастлив. Внезапно отворилась дверь — и за ней была близость с Мелиссой, близость, не терявшая привкуса чуда оттого, что была она нежданной и совер-

шенно незаслуженной. Как и все эгоисты, я не могу жить один, и весь тот последний год меня уже просто тошнило от холостяцкой жизни — я не способен вести хозяйство, я безнадежен во всем, что касается одежды, и еды, и денег; было от чего впасть в отчаяние. Тошнило меня и от кишашей тараканами квартиры, в которой я тогда жил и за которой присматривал одноглазый Хамид, слуга-бербер.

Мелисса проникла сквозь мои обветшалые оборонительные сооружения не потому, что в ней было что-то из обычного арсенала любовниц — шарм, какая-то особенная красота, ум, — нет, но в силу того, что я могу назвать только милосердием, в том смысле, что вкладывают в это слово греки. Я часто видел ее, я это прекрасно помню, бледную, тонкую в кости, одетую в поношенную котиковую шубу — зима, она выгуливает по улицам собачку. Прозрачные руки с голубыми жилками — руки чахоточной — и т.д. Брови, искусно подведенные кверху, чтобы глаза, ее изумительные, без страха искренние глаза, казались больше. Я видел ее каждый день, сотни раз подряд, но ее туманная анилиновая красота не вызывала во мне отклика. День за днем я встречал ее по пути к кафе «Аль Актар», где ждал меня Бальтазар в неизменной черной шляпе, ждал, чтобы «наставлять» меня. Мне и не снилось, что когда-нибудь я стану ее любовником.

Я знал: одно время она была моделью в ателье — работенка незавидная, — а теперь стала танцовщицей; больше того, она была на содержании у пожилого меховщика, одного из жирных и вульгарных городских коммерсантов. Я набросал эскиз рисунка только для того, чтобы обозначить часть моей жизни, рухнувшую в море. Мелисса! Мелисса!

* * * * *

Память плавно падает вниз, туда, где мы вчетвером жили вне привычного мира; не было дней, были паузы между снами, зазор, отделявший — одну от другой — раздвижные панели времени, действий, жизни вне пространства... Поток бессмысленных движений, срезающих тонкую суть вещей, вне климата и места, они никуда не ведут нас, не требуют от нас ничего, кроме разве что невозможного — чтобы мы были. Жюстин говорила: мы попали в поле действия воли слишком злонамеренной и сильной, чтобы то была воля людская, — в поле тяготения, коим Александрия окутывает избранных ею — подопытных кроликов.

* * * * *

Шесть часов. Суета фигур, одетых в белое, у выходов вокзала. Магазины на Рю де Сёр наполняются и пустеют, как легкие. Косые бледные лучи послеполуденного солнца скрадывают длинные изгибы Эспланады, и ослепленные голуби, как взметенные ветром смерчки резаной бумаги, карабкаются выше минаретов, чтобы зачерпнуть, поймать крыльями последние лучи убывающего света. Звон серебра на конторках менял. Железные решетки банка, все еще горячие. Копыта по брусчатке — чиновники в красных фесках разбегаются в экипажах по кафе. Нет часа тяжелее в Александрии — и вот с балкона я внезапно выхватил взглядом ее, не торопясь бредущую в белых сандалиях в центр, все еще полусонную. Жюстин! Город на секунду разглаживает морщины, как старая черепаха, и заглядывает ей в лицо. На ми-

нута он оставляет заскорузлые лохмотья плоти, пока из безымянного переулка за скотобойней ползет гнусава синусоида дамасской любовной песни — резкая микрохроматика; словно нёбо разламывают в порошок.

Усталые мужчины откидывают щеколды балконных дверей и, щурясь, ступают в тускнеющий горячий свет — бледные соцветия полдней, изнуренные бессонной сиестой на уродливых кроватях, где сны свисают с кареток в изголовье, как заскорузлые бинты. Я и сам был одним из этих худосочных клерков ума и воли, гражданин Александрии. Она проходит под моим окном, тихо улыбаясь про себя, чуть покачивая у щеки маленьким тростниковым веером. Очень может быть, мне и не доведется больше увидеть твоей улыбки — на людях ты только смеешься, показывая великолепные белые зубы. Печальная эта улыбка рождается быстро, и быстро гаснет, и светится изнутри оттенком, как будто совершенно чуждым твоей палитре, — злой волей. Казалось, тебе уготованы были роли в спектаклях скорее трагедийных по тону, к тому же ты была лишена чувства юмора в обычном смысле слова. Вот только назойливое воспоминание об этой твоей улыбке порою заставляло меня в том усомниться.

* * * * *

В моей памяти — целый архив подобных моментальных снимков Жюстин, и, конечно же, я прекрасно знал ее в лицо еще до того, как мы встретились: наш Город не позволяет анонимности людям, чей доход превышает две сотни фунтов в год. Я помню ее